



Арсений ЖИЛЯКОВ

Беда на Загонной улице

Арсений Иванович Жильков родился 13 февраля 1879 года в бедной крестьянской семье села Могильного Курганского уезда Тобольской губернии. Окончив сельскую приходскую школу, он в 13 лет поступает писцом в полицию, затем переводится в канцелярию мирового судьи (в Кургане, в Тюмени). В 1908—1909 годах он активно сотрудничает в газете «Омское слово», редактируемой молодым тогда писателем Г. Д. Гребенщиковым. Кроме Жилькова в ней часто выступали И. Тачалов, Г. Вяткин и, конечно, сам Г. Гребенщиков.

С 1912 года А. Жильков начинает сотрудничать в барнаульской газете «Жизнь Алтая», с 1915 года переезжает в Барнаул на постоянное жительство и здесь 15 августа 1921 года трагически погибает, упав случайно с третьего этажа.

При жизни талантливого, самобытного литератора вышла единственная книга «В тихих лесах» (Барнаул, 1918), в которой было помещено лишь четыре коротких рассказа.

Случайно сохранившиеся рукописи в архиве А. С. Новикова-Прибоя, публикации в газетах того времени, а также материалы, хранящиеся в литературном музее средней школы № 27, позволяют вернуть имя литератора Арсения Жилькова из почти семидесятилетнего забвения.

В ПРИТОНЕ

По субботам солдатам, бывало, разрешалось ночевать вне казарм, на квартирах. И хотя у Степана Соколова и Семена Боголепова квартир не было, они вечером отпросились у своего взводного в город. Знакомых у них также не было, и, собственно, идти было некуда — надо было только уйти из казарм, побыть на воле.

Позади казарм мертвенно-неподвижно стояли ряды старых тополей, и сквозь резко черневший переплет застывших ветвей холодно аела ранняя зимняя заря. Впереди искристо лучились кресты на церквях и как будто плавилась стекла в окнах высоких домов. Но внизу, в глубоко запавших улицах, уже синел перемерзший снег и меж тесных заиндевевших построек ложились сумеречные тени.

Холодно-жестко повизгивал под сапогами снег, и так же холодно, по-неживому, смотрели залепленные морозом окна старых домов, замкнутых и чуждых, наполненных чужими, неизвестными людьми.

Шли в ногу, серединой улицы, как привыкли ходить за последние месяцы солдатской учебы. Обменивались словами редко, отрывисто, как люди, давно уже переговорившие обо всем.

— Ну, а куда же все-таки? — спросил Соколов и, отдувая примерзший к башлыку ус, вполглаза покосился на товарища.

— Зайдем к дьякону... Встречался я тут с одним дьяконом — душа, а не дьякон! Пьяненький и, понимаешь, светлый такой, чистый.

Соколов повеселел и, не сбиваясь с шага, неуловимо быстро сделал ногами какое-то движение, ясно выразившее игривое настроение.

Оба они были взяты на военную службу из дальнего приобского села — Соколов служил приказчиком в сельской лавке, а Боголепов псаломщиком. Мысль попасть в праздничный вечер в родственную среду давно уже беспокоила Боголепова, давно уже тосковал он по поповским пирогам.

— Идем к дьякону! — весело отозвался Соколов, будто хотел сказать — куда ни шло! — Дьякон, оно, это ничего себе, ежели... — И, снова косясь в сторону товарища, уже серьезно спросил: — А как у него там насчет супружницы?..

— Не знаю. Встречался я с ним не на дому, а тут в одном месте... И не знаю. Говорил он о ней что-то много, Ксантиппой называл...

— Ксантиппой?! Это как понимать? — и Соколов приостановился.

— Это значит — злая, сварливая она у него...

— Тогда как же? Зачем же?..

— Ничего, идем. У меня на всякий случай другие соображения, если что...

— Так... Это ты хорошо — насчет особых-то соображений...

И они снова мерно, по-солдатски, шагали. Жестко хрустел примерзший снег. По тротуарам торопливо шаркали пешеходы, куда-то нервно спешащие; по улицам сновали извозчики. И от всего этого непрерывного движения в морозной мгле стоял несмолкаемый шорох. Казалось, кто-то большой и тяжелый, неуклюже переворачиваясь, слепо ползет по застывшей земле...

Прошли большие улицы, поднялись на пригорок и завернули в глухой переулок. Здесь было так тихо, и над трубами низеньких домов как-то осторожно, будто прислушиваясь к отдаленным шорохам, тянулись к холодному небу прямые столбы дыма.

Боголепов все всматривался в номера домов и бормотал:

— Где-то вот здесь... Не то 120, не то 130... Да вот он! Видишь, вон флигелек с тополями? Этот самый!

— Ну что ж. Только ты уж валий пока что один... соглядатаем, а я подожду.

— Ладно.

В доме у дьякона шла уборка, и гости были не вовремя. Боголепов сразу почувствовал это и вызвал дьякона во двор. Пошептавшись с ним, он вышел на улицу и деланно-грустно сказал:

— Не выгорает насчет родственной-то среды... Он и зовет, да у них и пройти-то негде. Уж не знаю...

Лицо у Соколова вдруг стало злым, и он хмуро оглянулся по сторонам. Но звякнуло кольцо калитки, и на улицу вышел дьякон, плотно запахивая длинную черную шубу.

— Грядем, братья! О-го-го! — и дьякон захохотал тенором. — Есть тут, братья, одна благодетельница, недалеко, всего квартала три... Ну, и грядем к ней, к благодетельнице Самойловне, солдатушки мои милые!

Путаясь в длиннополой шубе, дьякон зашагал вперед.

Багрово рдела заря. Сумеречные тени все плотнее укрывали заснеженные домики, и уже смутно, тусклыми бельмами, выступали замороженные окна.

Самойловна торговала пивом и тайно содержала двух девиц, прописанных по домово́й книге портнишками. «Гостей» она принимала осторожно, с разбором; строго следила за пристойностью поведения де-

виц, и, благодаря таким предосторожностям, притончик избегал скандалов и не подвергался воздействию властей.

Зная порядки Самойловны, дьякон тихонько постучал в ставень и крадущимися шагами, нырнув под ветви закуржавевших берез под окнами, скользнул возле стены к крыльцу. И когда стукнула в сенях дверь, торопливо зашептал в темное окошечко:

— Свои, свои, Самойловна! Отопри-ка, благодетельница...

— Чтой-то... как будто солдаты?

— Солдатушки, Самойловна, — верно! Только свои... Приятели мои, смиреннькие, тихенькие...

Помедлив еще, Самойловна полуоткрыла дверь, сторожко осмотрелась в обе стороны по улице и, наконец, впустила гостей.

Девушки, пестро наряженные к вечеру, встали и скромно посторонились, уступая место гостям: таков был порядок у Самойловны.

Зоя, высокая, широкоплечая, холодно-сонными глазами ощупала по очереди всех троих и, брезгливо сдвинув белесые, чуть намеченные брови, перевела взгляд на лампу, висевшую над столом под жестяным кругом. Тонкая, гибкая Поля с детским любопытством, не мигая, долго смотрела на гостей, и ее удивленные, широко расставленные глаза, мигая знакомую фигуру дьякона, напряженно следили за размашистыми движениями Соколова, разматывавшего башлык. Своим пристальным взглядом она как бы торопила его; и когда он сбросил башлык и серую папаху и расправил черные усы стрелками, глаза ее блеснули восхищением.

А дьякон уже шептался с Самойловной. Обернувшись к солдатам, он вскользь, торопливо спросил:

— Четвертушку пока, братие, а? — и, не дожидаясь ответа, снова шепотом заговорил с Самойловной.

На столе появилась четвертная бутылка с пивом, и попойка началась.

Закусывали сухарями и круто посоленными ржаными сухариками. Самойловна, довольная спокойными гостями, не в счет нарезала горку копченой колбасы и охотно доливала четверть, когда дьякон с молчаливой выразительностью стучал по ней вилок.

Скоро понадобилась вторая четверть и — третья.

Уже не было желания слушать — все наперебой торопились высказаться. Но когда смолкали голоса, в жарко натопленной комнате, с наглухо закрытыми на улице окнами, становилось томительно тихо, и тишину эту, изумленно настрожившуюся, подчеркивало разбитое ковылянье будильника. Старый, помятый и ржавый, будильник висел на гвоздике, вбитом в беленую стену, и тикал неравномерно — то медленно-медленно, как бы через силу, то с боязливой торопливостью, будто старался догнать что-то.

К боковым, не закрытым ставнями окнам, выходившим в садик, плотно припикала праздничная ночь и чутко прислушивалась; слушали и застывшие в немой напряженности ветви старых берез, белевших куржаком за черным переплетом окон.

Дьякон, уже захмелевший, подбирая старый серенький подрясник, попытался было плясать, но Самойловна вовремя вмешалась, и благопристойность была соблюдена. Тогда он впал в слезливое настроение и с горечью в голосе стал рассказывать о своих злоключениях по службе у алтаря.

— Братие, солдатушки вы мои милые! Ведь и я когда-то «на некое был услаи послушанье»... и пострадал. Тому уж одиннадцать лет... Нет, дайте мне сказать, вникните, и тогда будем смеяться... горьким смехом!..

— Вали, дьякон! — разрешил Соколов и нажал под столом ногу у Поли.

— Было надо мной следствие наряжено, братие... Строжайшее

следствие. Сам отец Гавриил Вертоградов вел это следствие. Надо мной и еще над отцом Николаем Пошикарским. Прежде допроса — впускание мне и прочее... «Ты, — говорит, — дьякон, немножко... как бы это сказать... нелегально вел себя за последнее время, да еще вкупе с иереем... Не по-пастырски это, не по-пастырски!» А потом расправил на столе бумагу и уже официально: «Потрудитесь отвечать с правдивостью, приличествующей вашему сану... Чем вы, — спрашивает, — руководствовались, выпуская на эктении титул государя императора — «самодержавнейший»? А я это, верно, после манифеста 17 октября посчитал излишним... И отец Николай был согласен со мной — тогда мы оба служили еще в селе Берестенникове. Отвечаю: считал-де излишним по букве манифеста, из которой явствует отказ государя от сего титула... «А имели вы, — говорит, — распоряжение выпускать сей титул?» Распоряжения я не имел, и отец Вертоградов назвал мое деяние предерзостным преступлением. «Затем, — говорит, — обнаружилось, что вы с отцом Николаем служили панихиду по убиенным 9 января за смуту рабочим — правда это?» — «Правда», — отвечаю. «Имели распоряжение?» — «Нет. Но, — говорю, — я считал это христианским долгом». Осердился зело. «Это, — говорит, — не долг в вас заговорил, а вольнодумство, уклонение в крамолу!» Я ему было: моление-де по усопшим, кто бы они ни были, не противоречит правилам церкви. Куда! Сорвался с вежливого официального тона и рычит. «Не хитри, дьякон! Ты, — говорит, — хорошо знал, что это имеет политический характер...» Опять я ему резоню: «Не знал я, — говорю, — не слыхал даже, чтобы религия заветы Христа изменялись сообразно требованиям политики». Оглядел меня этак саркастически, в лице распаление... «Эх, — говорит, — молод ты еще, дьякон!» А я, действительно, не стар еще был и... вот этого не притерпел...

— Ну и что же сделали с тобой, дьякон? — блеснув огоньком иронии, прервал Соколов.

— Что? Говорю: «На некое был услан послушанье».. И претерпел. Теперь восстановлен, допущен к алтарю. Только уж душа-то у меня продырявленная...

Дьякон мотнул головой, откинул с плеч жиденькие косички и потянулся к стакану. Зоя, не удержавшись, прыснула в свой стакан и, расплескав пиво, убежала в боковушку, рассерженная на свое смущение. Поля ковыряла вязанье и не поднимала глаз.

Неожиданно в настожившуюся тишину вклинился густой, басовитый голос Боголепова, до сих пор пившего молча и о чем-то напряженно думавшего:

— Это хорошо — молитва по убиенным... И поступок твой, дьякон, правильный поступок. Только и живому иногда не легче...

— А ты выпей, выпей — оно и полегчает, отмякнет душа-то... Да и какие у тебя грехи? Молод! — и дьякон постучал вилкой по опустевшей четверти.

Не слушая, как бы не видя никого, Боголепов приглушенно ронял:

— Гнетет меня страх... Страх перед бесконечностью... Подойдешь к пропасти, заглянешь — кружится голова. А и всего-то несколько десятков сажен. Говорят — бездонная пропасть, а дно — все-таки есть... Дна нет только в небе, то есть в пространстве... Понимаешь, действительно, бездонность откроется перед человеком...

— Боишься упасть вверх? — криво усмехнувшись, снова вмешался Соколов.

— Боюсь. Что такое низ и верх? Ты думал когда-нибудь над этим? Вот. А я это узнал во сне, когда мне было двенадцать лет. Я упал с земли, понимаешь, — упал! И боюсь с тех пор... А случилось это после того, как я... украл причастие. Не самое причастие, конечно, а вино... В алтаре, за заутреней. Да. Когда приобщался маленький, все казалось мало, а сладко... Ну и украл. Отхлебнул из графина, что стоял у нас на

жертвеннике... Свечи не все были зажжены, улучил минуту и... украл, а потом и забоялся. И сны стали страшные. Каялся потом, уже взрослый, — не помогает. Тоже вот, как дьякон, чувствую, что душа-то у меня с трещинкой...

— Да-а! — протянул Соколов. — За мной таких художеств не водилось...

Было уже поздно. Зоя давно спала в боковушке. Дремал дьякон, жиденько пробуя начать и тотчас же обрывая одно и то же: «Волною морско-о-ю»... На кухне звякала посудой Самойловна.

Соколов крутил ус и хитро косил глазом в сторону Поля. Выпив свой стакан, он манерно прохаживался по комнате. Подходил к туалетному столику и трогал пустые флакончики, коробочки, баночки.

— Ах, нельзя, нельзя! Там у меня секреты! — вскакивала Поля и, отобрав у него коробочку или баночку, бережно ставила на прежнее место.

— А что? — алчно открывая белый оскал зубов, спрашивал Соколов. — Небось записочки от симпатии... сувениры разные?..

— Может быть. А! вам дела нет!

Но Соколов видел ее зовущую улыбку, знал, что нравится ей, и через минуту снова трогал безделушки. Взял белую, похожую на костяную, коробочку с пуговкой наверху и открыл крышку. Упруго отпрянула новая, свернутая вчетверо, красная кредитка.

— Ай-я-яй! — взвизгнула Поля, срываясь с места. — Еще разворуете все мои капиталы... Вас только допусти! — и, смеясь, обдавала его зовущим взглядом.

Боголепов сидел молча, по-прежнему думая о чем-то. Сонно мотал головой, встряхивая жидкие косички, дьякон.

Соколов налил себе и Боголепову еще по стакану, выпил и снова заходил по комнате. Крутил ус и украдкой взглядывал на Полю, как будто все собирался сказать что-то. По лицу при ходьбе бегло скользили тени, и выражение его беспрестанно менялось.

Поля ковыряла вязальной иглой прошивку и, встречая взгляд Соколова, тянулась к нему улыбкой.

Остановившись спиной к туалетному столику, Соколов громко, глядя на дремлющего дьякона, сказал:

— А что, братья, не пора ли нам?

— Вер-р-но! — встрепенулся дьякон и мотнул головой. — Верно, братцы... И надо мне поспать до заутрени.

Поля перевела взгляд на дьякона, а Соколов, закинув руку за спину, одним движением нащупал белую коробочку и, повертываясь на каблуках, непринужденно засунул обе руки в карманы. И снова заходил по комнате, притворно позевывая.

— Идти так идти. Нам, Семен, далеко, — говорил он. И старался не встретиться взглядом с Полей.

Поля боковым взглядом уловила движения руки Соколова, посмотрела на столик и, краснея, склонилась к вязанью. И сидела теперь молча, поникшая, подавленная, не поднимая глаз.

Дьякон рассчитался с Самойловной, и все трое стали собираться. Когда они прощались, Поля тайком, как-то боязливо-быстро, оглянула всю фигуру Соколова и отвела изумленно-спрашивающий взгляд к окну с неподвижно белевшими за черным переплетом ветвями. Показалось, тяжелые ветви дрогнули и ласково-ободряюще закачались в ответ на немой, застывший в испуганном взгляде вопрос.

Смотрела в окно и молчала.

И долго еще молчала после того, как гости ушли.

(Вероятней всего, рассказ написан в 1919 году, печатается по верстке для журнала «Сибирский вестник». В журнале не публиковался)

БРАТЯ

Уже смеркалось, и пустую комнату с голыми стенами, грязными и сырыми, незаметно сгущаясь, заполняли серые тени — холодно-молчаливые, чуждые жизни и звукам дня. Все обволакивая мутною мглой, они стирали с предметов самый след солнца и всего, что жило и прикасалось к ним днем.

И хотя сквозь оконные стекла, задернутые матовыми узорами декабрьских морозов, был еще виден тускнеющий отблеск уходящего дня, тоскливая тишина так же неуловимо, но властно, как и серые тени, уже тушила все дневные шумы — будто мягкая и легкая, как пух, но непроницаемая завеса, тихо-тихо шурша, задергивалась где-то.

Поручик Иванищев, нетерпеливо шагавший по пустой комнате, как будто только теперь заметил наступление вечера, остановился сразу, притихший, рассеянно отстегнул шашку и, с полупущенной с плеча портупеей, долго рассматривал рисунок морозных узоров на окнах. Потом прилег на старый, жалобно пискнувший диван и с минуту чутко прислушивался к вечерним шорохам, шепчущим что-то свое и каждый раз новое, не похожее на вчерашнее.

Иванищев уже неделю хандрил, живя впроголодь и без водки, но сегодня в канцелярии батальона он получил деньги и поэтому был в приподнятом настроении: aqua vitae*, как он называл водку, теперь обеспечена надолго... И только сумерки, заставшие его как-то врасплох и незаметно задернувшие все какую-то серую, как паутина, пеленой, снова разбередили в нем то чувство мрачного отчаяния, от которого он был свободен только в минуты опьянения. Но поддался он этому чувству лишь на минуту. Упругим, отталкивающим движением Иванищев скользнул с дивана и звучно, полным жизнерадостности голосом, позвал денщика:

— Яков Шуткин! Шуточкин!

— Здесь, ваш б-родь! — торопливо бабьим говорком отозвался тот из кухни. И, оправляя на ходу замызганный, мешком сидевший на нем мундир, вытянулся в дверях. Жиденькая рыжая бороденка его выжидательно-угодливо уставилась в сторону начальства.

— Aqua vitae? — преувеличенно строго спросил поручик.

— Никак нет! Нету аквы... Так что вся вышла, ваш б-родь!

Едва уловимое движение из стороны в сторону жалкой бородки, угодливо торчавшей вперед, и деланно сокрушенный тон ответа ясно говорил: «Ладно, хитри! Сам небось лучше меня знаешь, что аквы твоей давно нету. Ну, что дальше?»

— А обед?

— Не отпускают боле, ваш б-родь!

Поручик притворно нахмурился, пошарил в карманах и нетерпеливо смял сухо захрустевшую в руках кредитку.

— В момент! Заплати каналье за обеды и... понимаешь?

— Десять аквов, ваш б-родь?

— Двадцать, два-адцать, дубина!

И, тыча кредиткой в бороду Шуткина, поручик полушепотом, с нотками сожаленья в голосе, добавил:

— Очевидный ты, братец, дурак!

Шуткин часто заморгал ресницами, словно собирался заплакать, потом сделал тяжелым, неуклюжим сапогом «па» и, суетливо двигая локтями, побежал на кухню.

— Яков Шуткин! А Старицын заходил?

— Наведывались, так точно!

* Вода жизни (лат.), шутовское название водки.

— Зайди за ним.

— Слушаюсь! — донеслось уже из кухни, и в ту же минуту хлопнула дверь.

Иванищев служил в запасном батальоне, стоявшем в Тюмени, и был «полуротным». Состав офицеров в батальоне был самый разнообразный: тут были и старые служаки-капитаны, и юнцы, выпущенные только что из училища, и прапорщики — мировые судьи и судебные следователи, оторванные мобилизацией от судейского кресла. Все они недавно были собраны сюда с разных концов, и многие из них, пробыв в батальоне лишь несколько дней, отправлялись в Маньчжурию, а на их место прибывали новые. Поэтому сплоченности и тесного общения в разношерстной офицерской семье не налаживалось.

Иванищев прапорщиков и подпоручиков, щеголявших новенькими мундирами, называл фазанами, старых офицеров — бурбонами, и к тем и другим относился презрительно, сам же он, пьющий, опустившийся и бравировавший этим, не располагал к себе ни начальство, ни товарищей. И, одинокий, отщепенец своей среды, он сильно тяготился службой и говорил о ней всегда озлобленно. И пил всегда в одиночку, нигде не псказываясь — ни в клубе, ни в ресторанах.

Но раз Иванищев встретился в пивной со Старицыным, казначейским чиновником, таким же, как и сам он, одиноким и озлобленным, и с тех пор они пили уже вдвоем.

Иванищев чуждался и штатских, особенно людей, казавшихся внешне порядочными. И когда ему удавалось поставить в смешное положение какого-нибудь «милостивого государя из комильфотных», он, как мальчишка, прыгал от удовольствия. Часто, получив жалованье, он наменивал двугривенных и раскладывал их по тротуару перед своей квартирой, а потом наблюдал в окно за прохожими. И если кто-нибудь, прилично одетый, быстро оглядевшись по сторонам, наклонялся и, украдкой подобрав монету, шел дальше, сохраняя всем своим видом достоинство порядочного человека, — поручик Иванищев хохотал до слез и на целый день отделялся от хандры.

Совсем уже стемнело, когда Яков Шуткин вернулся с водкой, приведя с собой Старицына.

Зажигая лампу, он рапортовал:

— Двадцать аквов, ваш б-родь!

На полу под порогом стояла пивная корзина, из всех двадцати гнезд которой выглядывали красные головки водочных бутылок.

— В гардероб, по одной! — скомандовал поручик.

Старицын, бледный, с тусклыми, точно налитыми ртутью глазами, весь облезлый, вылинявший, осторожно ходил около корзины и, почти не раскрывая бескровных губ, сложенных плотно, как два сочня теста, изумленно шептал, наклоняясь:

— *Aqua vitae?*

Поручик искоса взглянул на него и, с искрящимся смехом в глазах, спросил:

— Учужал?

— Учужал. Оно, видишь ли, не так трудно, когда знаешь, что сегодня двадцатое...

— Ладно. Живо, живо, Шуточкин!

Иванищев, еще до появления водки отогнавший мрачные мысли, жизнерадостно-нетерпеливо шагал из угла в угол. Под твердыми, отчетливо выстукивающими каблуками гнулся пол, на столе вздрагивали и тихонько дребезжали стаканы и поскрипывал косо поставленный гардероб.

С появлением огня — точно оторванного и спрятанного луча солнца — мертвенно-неподвижные серые тени ожили и, сжавшись, пугливо заскользили по стенам, трепетно вздрагивая при каждом движении людей. В большую комнату, только что казавшуюся заброшенной и веяв-

шую колодом смерти, снова вошла жизнь, и блики света любовно-заботливо охватывали все, всюду с любопытством заглядывая, казалось, вливали теплоту в самые стены, грязные и сырые.

К половине ночи Иванищев и Старицын были уже пьяны.

Лицо Старицына все бледнело, становясь неподвижным, как маска; тонкие губы посинели, и разрез рта напоминал теперь незаживающую рану. Он мотал облезлой головой, и округлившиеся ртутные глаза, редко мигающие и уже невидящие, как у мертвого, поблескивали отражением огня.

На Иванищева водка действовала обратно: чем больше он пил, тем больше оживлялся. Кровь быстрее, жгучими струйками пробегала по жилам, и круглое бритое лицо его, с крупным мясистым носом, распаренное, как в бане, краснело; серые, глубоко запавшие глаза искрились — пьяная мысль обострялась и не давала им тухнуть. Но, напившись, он становился не в меру говорлив и в центре своих рассуждений держал только себя; как в заколдованном круге, все его мысли вращались только около него самого, и о чем бы он ни заговаривал — самым важным и интересным непременно оказывались только его собственные переживания.

Без мундира, в расстегнутой рубашке, остриженный и бритый, Иванищев несколько не походил на офицера и, скорее, напоминал деревенского парня-рекрута, только что забритого и потому гуляющего.

Облокотившись на стол и рассматривая мертвенно-неподвижное лицо Старицына, поручик говорил:

— Ты, Старухин, пьешь потому, что ты — слякоть...

— Ну? — промычал тот и мотнул головой.

— Но слякоть ты честная. Это в тебе единственный плюс. И водка тебе, как aqua vitae, вовсе не нужна... Так себе... Споткнулся раз и катишься по инерции. Ты — ходячий труп, и водка тебя не оживит. Крышка! Умирать тебе надо.

— Ладно...

— Люди, видишь ли, пьют вовсе не оттого, что им хочется этого. Понимаешь? И не потому, что тяготеют жизнью и машут рукой на все — нет! Они-то именно, пьянствующие, крепче других и цепляются за жизнь... То есть не то! Они ищут жизни! Серые будни — для хладнокровных. Да. Одни от этой серости лезут в петлю, другие — в тюрьму... А ты чего ищешь?

— Я не терял... ничего не терял... А что?

— Все ты потерял. И вожжи у тебя из рук выпали. А пьешь бесознательно... Надо знать, Старухин, для чего пьешь! Меня вот давечь так это ударило... это... Эти вон! Видишь, как расписаны стекла? Видишь!

— Ну? Стекла... стекла... Написано?

— Да, брат, написано! А ты не видишь. Посмотри вон там, на среднем окне, нарисован куст с широкими листьями... Ведь это сказка! Таких ведь нет на земле...

— Мороз на дворе... холодно... и мороз это.

— Да, мороз, Старухин. А если бы ты знал, как мне давечь, в сумерках, тяжело стало... Я не мог понять простых узоров на стекле! Вымороженного на оконном стекле рисунка! Понимаешь? Разве не обидно?... А теперь вот ясно. Это сказка зимы, как бывают сказки лета... Ты знаешь, Старухин, что бывают сказки? Сказки ночи, сказки леса, озера? Нет? Старухин?!

— Сказки — это... нет... я уже стар, вишь, и это... для детей это...

— Ходячий труп! Ты умер, Старухин!

— Нет, я того... Выпьем?

Иванищев склонился к столу и, положив гладко остриженную голо-

ву на руки, зажмурился, точно глазам было нестерпимо больно-больно от слишком резкого света.

— П-поручик Иванищев! В-выпьем? — тормозил его Старицын.

— Выпьем, Старухин! Наполнь лампадки!.. Нет, Старухин, без сказки жизнь невозможна... Где-нибудь надо искать сказку. Да. А то серая действительность прихлопнет тебя!.. Крышка! Превратит тебя в червя. Aqua vitae и сказка! Я трезвый не могу смотреть на все, что творится кругом. Слышишь, не могу! Гадость и ужас, пошлый смех и слезы — все переплелось вместе, в один клубок, и опутывает меня. А я не хочу! Ты переживал когда-нибудь страх, Старухин? Бывало тебе страшно?

— Б-бывало... Я и теперь б-боюсь...

— Не то! Понимаешь — страх, когда сердце сжимает чем-то холодным и когда волосы шевелятся? Нет? А я переживал... Это было в крепости Зегрж, есть такая крепость... Мне приказано было идти с ротой на... Ну, знаешь, чтобы усмирить рабочих. Пришлось стрелять... И вот, когда толпа отхлынула и рассыпалась по улицам, я на бегу, возле одного палисадника — зелененький такой, веселый — обо что-то споткнулся. Смотрю — девушка, гимназистка, должно быть, молоденькая... Лежит это возле канавы и рвет на себе кофточку, а из груди у нее кровь — фонтаном! Подошел ближе. Лицо бледное, огромные темные глаза, каких я не видел ни до, ни после... Взметнула ресницами да как глянет мне в глаза — так и приковала к месту! Стою, должно, с минуту, смотрю и все не могу оторваться... Глядит, не мигая, а из глаз у нее точно стрелы какие протянулись ко мне... Вот тогда я и пережил настоящий страх... Э-эх, Старухин, выпьем!

Иванищев все чаще склонялся к столу, кладя голову на руки, и болезненно морщил лоб. Но через минуту встряхивался, как бы отгоняя назойливую мысль, и снова говорил — длинно, подробно. Старицын не слушал и, сидя на стуле, покачивался из стороны в сторону и шевелил белесыми, точно вытертыми бровями, стараясь приподнять бессильно опустившиеся веки.

Когда Иванищев чувствовал, что водка больше не возбуждает его, а наоборот, как будто понижает самочувствие, путая мысли, — он ложился спать.

Так было и на этот раз. Поручик крикнул:

— Шуткин! Яков Шуткин!

— Здесь! — Шуткин будто стоял за самой дверью: рыжая борода клинышком в ту же минуту высунулась на свет.

— Укладывай барина Старухина на диван. Постой, Яков Шуткин, это что? — и поручик указал на недопитую бутылку.

— Водочка, ваш б-родь!

— Что-о?!

— Виноват, аква витая. Так точно.

— Где ей теперь следует быть?

— В гардеробе, ваш б-бродь!

— Так...

Укладываясь на казенной койке, Иванищев еще раз позвал Шуткина.

— Скажи, Шуткин, кто я такой?

— Вы его благородье, господин поручик Иванищев, ваш б-родь!

— Не верю. Ты врешь.

— Никак нет!

— Не верю. Потому, какое же у меня благородье, когда дед мой был продан за две борзых собаки! Знаешь ты это?

— Не могу знать...

— Напрасно. Надо знать. Если бы ты знал это, то не служил бы у меня денщиком и не укладывал бы барина Старухина на диван. Выпей, брат Яков, лампадку и гряди спать...

- Покорнице благодарю, ваш б-родь!
- Но... Слышишь, Яков! Заруби себе на носу: ровно в шесть часов утра завтрашнего числа ты разбудишь меня, чтобы... что делать?
- Водочку пить...
- Что-о?!
- Виноват, ваш б-родь, акву витаю...
- Ну. Понимаешь, ровно в шесть. Иначе, если опоздаешь хоть на минуту... Ты знаешь, Яков Шуткин, что я с тобой шутки шутить не буду? Возьми тебя за твою классическую бороду и... чем?
- Сапогом, ваш б-родь!
- Так. А теперь туши лампу и... м-рш на печку!
- Ночь снова задернула все черным пологом, и стало так тихо, что слышно было, как где-то неумоимо сверлит стену червь-древоточец.

Иванищев пьянствовал со Старицыным почти целую неделю. Дни слились в сплошной пьяный кошмар, и оба они потеряли им счет.

В Рождество поручик проснулся поздно и, увидев, что в комнате светло, свирело закричал:

- Шуткин! Шуткин!
- Здесь, ваш б-родь.
- Ты как же это, каналья, смел не разбудить меня?! Сколько часов?
- Девять, ваш б-родь!
- Де-е-вять!! И ты...
- Так что, виноват, ваш б-родь! Не посмел... — подставляя угодливую бороденку, лепетал Шуткин.
- Не посмел?! А борода? А сапог?
- Воля ваша, ваш б-родь, а только... только будить было не к чему...

— Как это?!

— Так что ака... аква вся вышла, ваш б-родь!

Иванищев бессильно откинулся на подушку, и глаза его, только что озлобленно сверкавшие, сразу померкли.

— Вчера барин Старухин остатную допили... — пояснил Шуткин и, переступив, другим голосом, громче и увереннее сказал: — Дозвольте, ваш б-родь, поздравить с праздником!

Иванищев, недовольно морщась, скосил глаза в сторону денщика и устало, словно через силу, переспросил:

— Что?.. С праздником?!

— С Рождеством Христовым, ваш б-родь!

Поручик понял, и лицо его, опухшее за пьяную неделю, еще больше померкло, болезненно перекопилось, как при зубной боли.

— П-шел вон! — неожиданно рывкнул поручик.

Рыжая бороденка шевельнулась из стороны в сторону, и Шуткин, сделав «па», казенным шагом прошел в переднюю. Но поручик через минуту вернул его:

— Умываться!

Умытый, в вычищенном вицмундире, Иванищев казался бодрее и, выстукивая по гнущемуся полу твердыми каблуками, попробовал было насвистывать, но с воспаленных, потрескавшихся губ его слетал лишь пар, холодно струившийся по сырой, нетопленной комнате.

В двенадцать часов нужно было делать визиты по начальству. И поручик поминутно подходил к зеркалу, подолгу рассматривал свое опухшее, со спрятавшимися глазами лицо, мял отекавшие щеки, растирал набухший нос и с гримасой, озлобленно стукнув каблуками, отвертывался. И снова шагал. Ему смертельно хотелось водки, но все бутылки были пусты, а в кармане ни гроша...

Чтобы убить время, он присел к столу, достал бумагу и угловаты-

ми, прыгающими буквами вывел: «Дорогие родители!» Уставился в стену и долго придумывал — что писать дальше. Потом сердито ткнул пером в бумагу и крупно, уже совсем небрежно написал непристойную фразу и с размаху швырнул ручку. Перо вонзилось в пол, и ручка медленно закачалась, будто жалея о чем-то.

Иванищев припал головой к столу, и видно было, как плечи его дернулись.

Тихо было. Холодная мгла, как бы выжидая свое время, притаилась в сырых, промерзлых углах, а сквозь морозное кружево окон упорно, настойчиво заглядывал праздничный день и звал к жизни.

Скрипнула дверь и в щель просунулась рыжая борода Шуткина.

— Ваше благородье!.. Ваше благородье!..

— Ну, что тебе, Яков? — устало, упавшим голосом отозвался поручик.

— Дозвольте, ваш б-бродь, — смелее и уже наполовину высовываясь, говорил Шуткин. — Дозвольте... с праздником...

— Ну?

Шуткин переступил порог и, редко, нерешительно шагая, подошел ближе, пряча что-то за спиной.

— Что, Яков? — с нарастающей досадой спрашивал поручик.

— Ак... аква, ваш б-родь!

И Шуткин отвел из-за спины руку. Блеснула бутылка, наполненная чем-то желтоватым, с черневшими на дне кореньями.

— Aqua vitae?

— Так точно, ваш б-родь! Так что, с праздником! — весь сияя и потряхивая бородашкой, говорил Шуткин.

Поручик молча, изумленно смотрел на денщика, и лицо его стало багроветь. Запльвшие глаза вдруг наполнились неудержимо хлынувшей слезой, и он, порывисто сорвавшись с места, отвернулся в угол.

Шуткин осторожно, переступая около круглого стола, наливал большой зеленый стаканчик, похожий на лампадку, и, тряся бородой, счастливо улыбался.

Когда поручик Иванищев повернулся к столу, в глазах его, поблескивавших влагой, заискрилась улыбка, на миг озарившая лицо его светом.

— Две... две наливай, Яков!

Потом подошел к столу и, чокаясь своим стаканчиком о стакан Шуткина и глотая слова, сказал:

— Так, Яков... Мой дед продан за две борзых собаки... А ты... За наших дедов, Яков!

В окна, вместе с дневным светом, рвалась жизнь и робко жалась в углах мутная мгла.

БЕДА НА ЗАГОННОЙ УЛИЦЕ

Грустно становилось в садике Акимыча. Старые тополя поминутно роняли поблекшие листья: все редели, оголяясь, ветви черемухи и уже не отбрасывали летних теней, еще так недавно четкой узорчатой сеткой покрывавших и песчаную дорожку, и зеленую покосившуюся скамейку под окнами. И ветер, теперь уже холодный и сырой, не шелестел вершинами тополей, не шептался с ними украдкой, как это бывало летом, а порывисто-озлобленно заламывал хрупкие ветки, рвал широкие бледно-зеленые листья и, крутя, гнал их по дорожкам садика.

А из-за гор все плыли и плыли куда-то сплошные мутные облака и сеяли на землю холодный, непрерывно моросивший бусенец...

Ковыляя по дорожкам садика, Акимыч часто останавливался и, с запрокинутым лицом, морщинистым и безбородым, как у черемиса, подолгу смотрел вверх — как будто выжидал: вот-вот пронесутся последние клочья этих мутных облаков и, упираясь в горы косыми лучами, снова брызнет летнее солнышко.

Но облака, однообразно, как мутновспененные волны, все плыли нескончаемой вереницей, и Акимыч, втягивая в костлявые плечи трясущуюся голову, безнадежно-покорно шептал:

— Осень... Уж осень...

Дом Акимыча, старый, обшитый обомшелым, заплесневелым тесом, стоял в конце Загонной улицы, упиравшейся в высокую, почти отвесную, с нависшими каменными глыбами, гору. Приземистый, с узкими окнами, напоминавшими старческие, уже плохо видевшие глаза, он сиротливо жался к каменистой громаде горы и, покосившийся, вросший в землю, казался таким же дряхлым и хилым, как и сам Акимыч.

Гора замыкала улицу, и, казалось, не было выезда из этого тупика. Но вправо, вплотную обогнув Акимычев садик, ныряла под нависшие выступы горы узенькая каменистая дорога и спускалась в ущелье, к речке, шумно бурлившей где-то глубоко на дне и брызгавшей водяною пылью через скользкие, всегда влажные валуны.

Дорога вела в соседние рудники, и дом Акимыча знали все, кому приходилось бывать в Змееве. И так же знакомо всем было худенькое, сморщенное лицо Акимыча, порой днями, с утра до позднего вечера, сидевшего у ворот на лавочке.

Сложив дрожащие пальцы в щиток и затеяв им глаза, он напряженно вглядывался в каждого проезжего и провожал его взглядом до поворота в ущелье, где громыханье телеги сразу затихало — ехавший точно проваливался в бездонную глубину.

Акимыч всегда одинок: у себя на печке, в садике, на лавочке за воротами.

Акимычева жена, Евлантьевна, расплывшаяся, болезненно ожиревшая, почти не встает с широкой двухспальной кровати, спит круглые сутки и просыпается только для того, чтобы выпить маленькую рюмку водки, настоянной на калгане. А Савелий, уже стареющий сын-холостяк, молчаливый, скрытный и скупой, приходит домой только ночевать, весь день работая на кожевенном заводе. И в комнатах с низкими, погнувшимися потолками и затененными садиком окнами всегда так сумрачно, тихо и по-нежилому пахнет чем-то затхлым.

Только перед большими праздниками Евлантьевна вытрезвляется, встает с кровати и протирает деревянным маслом иконы, шкапы, стулья, косяки — для блеска и чистоты. Но от этого в комнате становится еще удушливее, как будто ниже опускаются потолки, и одиноко-тоскливо бьются о тусклые стекла потревоженные мухи.

Акимычу давно уже не о чем говорить с домашними, и тишина, однообразно, назойливо звенящая, стала привычной в старом доме.

Но когда от безделья зайдет сосед, Акимыч оживляется и становится говорлив. Вспоминает былое, сетует на новые порядки, жалуется на кабинетское начальство, отнявшее у него клочок земли, когда-то выслуженной им у Змеевского завода в должности писца второй статьи.

— Нынче правда-то сгорела, а правосудие в бегах... Хи-хи-хи! — довольный своим остроумием, жидким смешком заканчивал он свои жалобы.

— А уставная-то грамота — вот она!

И Акимыч вытаскивает из сундука сверток истрепанных, пожелтевших документов.

Цитируя «грамоту», он обстоятельно, хотя бы это было в десятый

раз, доказывает свои права. И надо было внимательно слушать, иначе — рассердится.

— Царство небесное, покойный Ивановский, управляющий, не так поступал... На вот, говорит, Комаров, за усердие твое грамоту уставную, владей угодьями на Убе! Потому — заслужил! Да и начальник же был... Э-эх! Таких теперь и в помине нет. Сам, вишь, жалованья-то получал немногим больше ста целковых, а гувернантке платил сто серебром. А там еще лакей, повара, конюха да кучера — корми такую ораву да всем жалованья плати! И ничего: все были сахарным куском сыты, одеты-обуты и награждаемы по заслугам. Умел жить, покойник! Всего в достатке: упряжь ли, мебель ли — один блеск! Белье, слышь, с оказией посылал стирать в Париж! Да-а... И время было, не то что нынче! Копейка — деньги! Я вот, к примеру сказать, был на окладе писца второй статьи, получал всего два с полтиной серебром, а все же, как-никак, нажил и домик, и прочее. А первой-то статьи писцы вон каменные дома понастроили!..

У Акимыча, когда он говорил, дрожала нижняя, бессильно отвисшая губа и почему-то шевелились уши, торчком высовывавшиеся из-под редких грязно-седых, точно изжеванных волос, а серые, подернутые мутною пленкой маленькие глаза старчески слезились и часто мигали.

— Старик, а старик!.. Перестань, надоел совсем! — тянула иногда Евлантьевна, и Акимыч умолкал. Он долго смотрел на высокую, лоснящуюся от масла спинку кровати, как бы прислушиваясь к чему-то отдаленному, а потом озлобленно-торопливо свертывал документы и молча, подобрав свисавшую губу, ковылял к своему сундучку.

После этого он до вечера пропадал или в садике, или на лавочке за воротами, следя за проезжими.

Сегодня никто не проходил, говорить было не с кем, и Акимыч, хилый и одинокий, бродил в поредевшем и печальном садике.

— Уже осень! Да, это осень... — шептал он, зачем-то подбирая сухие ветки, сброшенные на дорожку первыми осенними ветрами.

Сам Акимыч за лето захирел заметно, ссохся и, нагибаясь, хрустел суставами.

И что-то общее было в этом хрусте с тем сухим треском, который издавали ломавшиеся у него в руках ветки, полусгнившие и пересохшие. С мыслью о неизбежности смерти Акимыч свыкся давно, и хотя за последние годы все чаще чувствовал недомогание, не гугался близости конца. Он так долго жил и на своем веку так много видел умирающих, что смерть уже не казалась ему чем-то загадочным и странным, а была таким же понятным и обычным явлением, как понятен был для него сон уставшего человека.

Смерть Акимыч так и представлял себе — спом непробудным...

И мысль, что смерть и даже сон, в сущности, недоступные его пониманию и нельзя их взять да и рассмотреть, как рассматривал он когда-то хитрый механизм игрушки, — ни разу не будила его сознания. К смерти и рождению он настолько привык, что это никаких размышлений не требовало, так же, как не требовалось их и тогда, когда он перед праздниками резал на жаркое курицу. Так определено богом: курица уготована в пищу человеку, а человек, взятый от земли, в землю и отыдет...

И когда что-нибудь напоминало Акимычу о смерти, — его, Акимычевой, смерти, он примиренно говорил себе:

— Что ж... на покой пора. Пора и честь знать! — и через минуту, рассеянно зевнув, думал уже о другом, о чем-нибудь житейски мелочном.

Но сегодня он необычно надолго раздумался над «внутренним».

Сухой треск веток, крошившихся на мелкие обломки и выпавших из него из рук, который он раньше не заметил бы, как самое обыкновенное явление, ясное и понятное, теперь показался ему не то как будто

зловещим, не то о чем-то предостерегающим. Представилось: в прошлом году ветки эти были зелеными, гибкими, качавшимися под тяжестью широко распутившихся листьев, а потом почему-то сразу засохли, морозы прошлой зимы обожгли их своим жгуче-студеным дыханием, и они еще более сжались, затвердели; ныне летом сгноили их дожди и высушило до хрусткости полуденное солнце, знойными лучами косо упиравшееся из-за высоких, белевших верхушками гор. И у Акимыча появились вопросы: почему? зачем? куда они потом денутся? Положим, пойдут они на растопку, сгорят... Дым пойдет. А куда?

С усилием нагибаясь и кряхтя, Акимыч тщательно подобрал каждый обломок ветки и, непривычно-пытливо думая, рассматривал неровные, с бледно-красной сердцевинной изломы.

— Вот так и я... умру, сгнию, а потом?

На минуту он обрывал мысли о «внутреннем» и пытался отделаться от них обычным: «Божье дело, божье!..» Но воспоминание о дыме, который уходит неизвестно куда, снова уводило его в сторону непривычных размышлений.

— Хрустят вот... И у меня уже все хрустит. А к чему?

Припомнилось детство, когда Акимыч был таким же гибким и свежим, какими были в прошлом году вот эти ветки, теперь сухие и годные только на растопку...

Акимыч как-то сразу, неожиданно для себя, осознал, что его понятие о смерти, как о непробудном сне, — ложно, и ему стало страшно... Предчувствие чего-то надвигающегося, как неожиданная, но уже неотвратимая беда, застало его врасплох, и он бестолково заметался по садику.

Суетясь, но все же аккуратно, как все, что он делал в жизни, Акимыч сложил собранные обломки веток в уголок под забором и, отряхивая полы халата, заторопился куда-то.

Но далее калитки он давно уже не ходил, и как только вышел за ворота, тут же и опустился, обессилев, на лавочку.

Осенняя мгла уже сгущалась горными сумерками, и кривая Загонная улица уже сиротливо серела, безлюдная и тихая, точно давно брошенная жившими на ней людьми. Акимыч почувствовал себя еще более одиноким, беспомощным и зашептал безнадежно:

— Все равно... Что уж... Видно уж, брат, никуда не уйдешь... Что уж тут!

Он не знал, что умрет скоро, может быть, через несколько часов; никаких особых признаков того, что к нему подходит смерть, он не видел и растерялся лишь от неясных предчувствий, от внезапно нахлынувших странных мыслей, и бестолково метался, не находя места. На лавочке, где иногда незаметно для себя просиживал целые дни, теперь смог высидеть лишь несколько минут и топтался на месте, не зная куда пойти.

Где-то в извилинах улицы или в ущелье послышался скрип телеги, и Акимыч, по привычке, хотя вместо солнца была немая мгла, поднял к глазам зонтик из сложенных пальцев и стал вглядываться. Это отвлекло непривычные мысли, и с минуту он думал: кто бы это мог быть так поздно? Но сейчас же откуда-то всплыло: вот и телега скрипит, а придет время, перестанет скрипеть и она...

Уже ясно стало, что телега скрипит в ущелье и как будто не может взобраться на крутой подъем. Потом застучали копыта лошади, а из-за садика вывернулся верховой, темный, показавшийся огромным и лохматым.

Увидев Акимыча, верховой сдержал лошадь и остановился против калитки.

— Дядышка, а дядышка! — с характерным цыганским выговором позвал он.

— Ну, чего тебе?

— А не продашь ли хомута? Старынького, хыть завалышшого какого?

— Продай, дядынька! Завалышшой хыть какой! Бог те пошлет счастья, а нас ты выручишь из беды...

— Да на что тебе?

— Порвался в дороге хомут — не на чем ехать, вот те Христос! Продай, дядынька!

Акимыч давно уже не держал лошадей, но кой-какая упряжь валялась у него в завозне. Хомутов у него было два: один еще хороший, с кожаным оголовком, а другой старый, истрепанный, войлочный. Он не любил мотать даже старое, ненужное, но цыган все приставал, божился и все настойчивее просил выручить его из беды, обещав молить за Акимыча бога. И Акимыч согласился. Он даже решил отдать цыгану старый хомут даром, подумав, что он все равно ни на что уже не пригодится и Савелию, а для него, старика, такая уступка — доброе дело.

Акимыч привел цыгана к завозне и, нашарив в темноте хомуты, снял со спицы старый войлочный, без шлеи, вынес на двор, где еще серел сумеречный свет, и потыкал своей палкой в разбухшие бока оголовка, точно хотел убедиться в пригодности хомута к дальнейшей работе.

— Вот! — сказал он. — Бери. Хомут ничего еще... послужит, может. Бери. И денег твоих мне не надо...

— А спасет те Христос! Дай тебе бог здоровья, долгого веку, счастья-талану!

Цыган был, видимо, искренне рад подарку и долго еще сулил всяческих благ и самому Акимычу, и родителям его, и деткам. Набросив хомут на руку, он торопливо ушел со двора, но за воротами еще долго слышались его гортанные возгласы.

Акимыч притворил завозню, давно уже за ненадобностью не затворявшуюся на замок, и заковылял к крылечку. Пора было на печь. Подарок хомута внес в его одинокую жизнь маленькое разнообразие, маленькое новое событие, и в душе у него зашевелилось нечто похожее на умиление своим поступком.

Но когда он улегся на печи, мысли о «внутреннем» вернулись снова. Снова стал думать о сухих прутиках, которые исчезнут неизвестно куда.

— Совсем пропадут... без остатка... Да.

Акимыч задремывал на минуту, потом снова думал. На печке было жарко, и маленькая замызганная подушка жгла голову; голова скатывалась на сторону, и печь жгла еще сильнее.

Засыпая, Акимыч стонал. Спал он урывками, просыпаясь через какие-нибудь пять минут. Но каждый раз он успевал видеть что-нибудь несуразное, кошмарное.

...Акимыч стоит в своем садике. Солнце уже зашло, но светло еще. Край неба на западе ярко алеет над горами.

Эта алая яркость стала еще нежнее, когда над верхним краем ее надвинулась черная-черная туча, расплывшаяся по небу тяжелыми смоляными космами. Потом туча сжалась в плотный комок и поплыла прямо на Акимычев садик. Но когда она проносилась над ущельем, то, не меняя своих очертаний, вдруг стала зеленой.

Акимыч, запрокинув голову, смотрел на странную тучу, плывшую над садиком низко-низко, и ясно, отчетливо рассмотрел, что это огромный шматок плесени.

Оглянувшись затем на алую зарю, Акимыч увидел, что там снова нависла черная туча, охватившая уже полнеба, и между ней и зубчатыми вершинами гор лишь узкой полосой рдеет небо. Но вот и в этом нежно-алом просвете показалось что-то движущееся. И скоро Акимыч рассмотрел, что это гигантские, вырванные с корнем деревья, переме-

шанные, как рассыпанные булавки: вниз вершинами, крест-накрест, косыми клетками... Весь этот лес стремительно несся куда-то на восток; стволы падали на землю, и с треском все рушилось на их пути. Одни уже пролетали, а на смену им на розовой полосе вырисовывались новые, перепутанные и перекрещенные стволы гигантских деревьев, которые неслись все быстрее, точно подхваченные могучим ураганом. Между тем было тихо; воздух был словно застывшим в какой-то странной мертвенной неподвижности.

Акимыч видел, как падающие стволы разрушали при своем падении соседние дома, и не двигался с места. Ему казалось, что как только он войдет в дом, вся эта масса падающих деревьев приплюснет его к земле вместе с крышей домика.

Но вот и над садиком стали валиться деревья, и он видел, как толстые, кряжистые стволы вдавливают в землю кусты черемухи, ломают тополя, как хрупкие стебельки. Падают. падают... И Акимыч уже видит, как корявое, в обхват толщиной дерево, отделившись от остальных, начинает клониться тяжелым комлем к земле, как раз над его головой...

— Тятка! А тятка, ты чего это?!

Акимыча тормозил Савелий, только что вернувшийся с завода. Старик очнулся и застонал, все еще дрожа от страха.

— Приснилось... приснилось мне это. — лепетал он.

Савелий отошел от печки и завозился у своего сундука.

Евлантьевна стонала, перепуганная бредовым криком Акимыча, и шарилась около себя на кровати, отыскивая свою калганцую настойку. И ворчала:

— Шляется, шляется где-то допоздна да всю ночь и буровит, спать никому не дает! Дьявола-то и те-е-шит!..

Акимыч притих и, обрадованный, что то, страшное, — только сон и что в комнате яркий свет от лампы, смотрел на знакомую обстановку счастливыми, застланными старческой слезой глазами, отражавшими лучистые блески огня.

Савелий вышел на двор. Он всегда, прежде чем лечь спать, особенно по субботам, когда у него бывала получка, долго шнырял по двору, лазил на чердак, на сеновал, заглядывал в баню, в завозню. И все как-то настороженно оглядывался, будто крался.

Старуха заворчала:

— Ишь, арич, пошел опять шныряться, зачал опять казну свою перепрятывать... Те-ешит беса-то!..

Савелий был скуп до жадности и из-за скупости этой до сих пор не женился. Все прятал деньги, годами копил, не замечая, что к нему уже подкрадывается старость. Деньги он никому не доверял, даже казначейству. И прятал их не у себя в сундуке, а где-нибудь во дворе, в огороде, на чердаке... И нарочно в таких местах, где никто бы не мог даже помыслить искать денег или самому поятать.

Выпив вторую рюмку настойки, Евлантьевна уже успокоилась было и перестала охать, когда в избу ворвался Савелий, с каким-то присвистом тяжело дышавший. Он кинулся к Акимычу и затоптался у печки, точно приплясывая.

— Тятка! Тятка! Старый... Тятка! — придушенно шептал он, размахивая руками перед лицом старика.

— Ну, чего? Что?

— Тятка... хомут где?! Где хомутина?

— Какой хомут? Чего ты?

— Игренькин хомут старый... Хому-у-ти-и-на! Игренькина, старая! — завизжал он, еще игривее подплясывая, и уцепился за опечек.

Акимыч начал понимать и приподнялся.

— Хомут... он, вишь... Хомут... На что тебе хомут? Нету его...

— Деньги! Деньги в хомутине! — снова взвизгнул Савелий. — Деньги где?! Хомути-и-на! Семь... семьсот рублей... Агы-ы-ы!

— Цыгану я его, того... отдал, — сказал Акимыч и лег, сам испугавшийся.

— Цыгану? — несвойственным ему басом переспросил Савелий, и глаза у него остекленели. — Цыгану? А-а-гы-ы! — завыл он и скрюченными, как когти, пальцами вцепился в старика, рванул его с печки к себе и ударил об пол.

Кости Акимыча сухо стукнули о дерево, и по серой половице, извиваясь в ложбинах, поползла узкая тонкая струйка...

Савелий все так же, скрюченными, точно окостеневшими пальцами, впился в спину Акимыча и, высоко приподняв, снова грохнул об пол.

И снова — тот же сухой стук...

Широко откинув в сторону локти и по-прежнему не сжимая распяленных и скрюченных пальцев, долга стоял Савелий и, не мигая, тупо смотрел на опечек.

Все в старом домике еще более притихло, и только Евлантьевна открытым ртом, черным, как дыра, ловила воздух и двигала ногами, то приподнимая, то опуская старое ватное одеяло...

ПОЩЕЧИНА

Необычная, какая-то виновато-подавленная, робкая тишина стояла в доме Каридзе, и вся обстановка пустых, полуосвещенных комнат как будто притаилась, конфузливо пряча свой будничный облик, измятый и загаженный постоянной разгульной жизнью веселого дома.

В вечера пьяного разгула, когда «гости» и девицы кружились по зале в дикой пляске, обстановка эта жила общей жизнью с людьми, не таилась от них и, залитая электричеством, казалось, бесшабашно кричала вместе с пьяными что-то нагло-циничное, вместе с ними кривлялась в стыдных движениях... Оголенные женщины, изображенные на развешанных по стенам картинах, как будто оживали, и сквозь колеблющиеся струи табачного дыма лучились их разнузданные усмешки; большие, от пола до потолка, простеночные зеркала также сверкали разгульной улыбкой, мигая в такт движениям толпы; тяжелые портьеры колыхались и смешливо потряхивали висюльками замызанной бахромы. А трескучее, точно стреляющее звуками пианино изо всех сил старалось перекричать визг девиц и пьяный гул голосов. Не умолкая ни на минуту, оно отчаянно, трескуче брэнчало и как будто все ускоряло темп: словно боялось, что пляшущие люди, едва только оно замолчит, останутся вдруг, оглянутся кругом отрезвевшим взглядом и с застывшим ужасом в глазах разбегутся, оставив залу пустой, жутко, по-неживому молчащей...

Сегодня был канун большого, веками чтимого праздника, обычных «гостей» не было, и тишина в опустелом, будто вымершем доме была особенно гнетущей.

Все окна были плотно занавешены, но в треугольниках верхних стекол, над белыми шторками, нежно голубели зимние сумерки, и своей чистотой, и тем особенным комфортом, в который окрашиваются большие праздничные вечера, еще резче подчеркивали омерзительность покинутых гулящими людьми комнат, заполненных теперь остывшими человеческими испарениями и теми оскорбляющими запахами, которых нигде в других домах нет.

Но дом не был совсем пуст. На хозяйской половине сухо и коротко показывал большой чахоткой содержатель заведешня, ссыльный грузин Каридзе, а в голубой гостиной, интимной комнате, укрытой драпировками от постороннего, непосвященного взгляда, сидели внешне почет-

ные, а втайне самые ненавистные гости — пристав Шабалин и столоначальник из полиции Денисенко, оба сонно-пьяные, напившиеся еще с утра, при пробе праздничных напитков...

Пристав дремал, откинувшись на спинку плюшевого кресла, и минутно мотал снизу вверх сухой гладко остриженной головой. От спускавшейся над ним электрической лампочки у него шурились узкие, с сухим блеском, глаза, и на плоском, начинающем лысеть черепе ползали световые блики. Казалось, ему уже обрыдло пьянство, и у него только одно желание — спать, но он для чего-то перемогает себя и покорно тянется к стакану, когда Денисенко наполняет его коньяком с лимонадом. И при этом неизменно повторяет:

— А ну, еще по лампадке!

Что их связывало, они и сами, кажется, не знали. Но Шабалин, молчаливый и замкнутый, всегда внимательно слушал Денисенко, который читал газеты, умел вести «политические разговоры» и щеголял мудрыми терминами. Шабалин запоминал какое-нибудь особенно трескучее слово и потом вставлял его или в рапорт по начальству, или в протокол.

Было еще между ними общее, как бы связывавшее их: оба они не подавали вида, что замечают друг за другом те поступки, которые, если, на их взгляд, и нельзя назвать предосудительными, то все же необходимо прятать от посторонних глаз. Шабалин смотрел сквозь пальцы на постоянные даровые кутежи Денисенко в веселых домах, находящихся в его, Шабалина, участке, в его непосредственном ведении; не замечал он также и других деяний столоначальника, уж слишком близко граничащих с злоупотреблением властью ведающего «желтым» и арестантским столом.

Денисенко, в свою очередь, не видел, как Шабалин избивает арестантов...

Бил Шабалин жестоко, всегда собственноручно, и славился особой ловкостью удара, после которого человек сразу «балдел» и, пятясь, изумленно хлопал глазами, к которым приливал неосмысленный животный страх. Чаще битье происходило в каталажных камерах или в участке. Но бывало и так: приехав в полицию с утренним рапортом, пристав куда-нибудь торопился, а в каталажке уже сидел и числился за ним попавшийся за ночь мелкий воришка, которого нужно допросить и добиться у него признания сейчас же; в таких случаях арестанта выводили в канцелярию, и Шабалин уединялся с ним в глухой, с толстыми каменными стенами, комнате Денисенко.

Уткнувшись в бумаги, тот как бы совсем не видел обоих и притворялся глухим. Шабалин близко подходил к арестованному и, упиравшись в него буравящим и металлически поблескивающим, не мигающим взглядом, молча, неуловимым коротким движением руки ударял его под челюсть. Арестант лязгал зубами и, если стоял у стены, с глухим звуком ударялся в нее затылком; глаза у него изумленно раскрывались и через секунду их заполнял тот животный страх, который мгновенно стирал с лица всякое выражение мысли, и человек принимал обидно-жалкий вид. У Шабалина при этом шевелился выпуклый между челюстной мускул, и глаза его, разгораясь, все глубже впивались в ошеломленное лицо арестанта.

— Кремень человек! — определял Денисенко пристава и украдкой, с неосознанным восхищением, следил за его четкими движениями.

— Яркий тип консерватора! — бросал он в разговорах с писцами мудреную фразу.

У тех слово консерватор ассоциировалось с сардинками в масле, но они чувствовали, что это что-то другое, и изумлялись учености Денисенко.

Глядя теперь на Шабалина, полусонного и размякшего, Денисенко едва узнавал в нем того кремневого пристава, который даже в других

презирал всякое проявление чувства жалости. Может быть, и на него действовала та притаившаяся тревожная тишина, которая так гнетуще отражалась на самом облике обстановки.

Сидел Шабалин как-то непривычно понуро и все как будто мучительно думал о чем-то. Порой в усталых глазах его, под воспаленными, отяжелевшими веками, проскальзывала странная, не идущая ко всему его строго-сухому облику, мягкость: не то воспоминание о чем-то светлом, далеком, не то снисхождение и к себе, и ко всему окружающему.

Денисенко становилось скучно, и он, вызвав «вышибалу», стал с ним пьяно-придирчиво ругаться, требуя девиц, которые были распущены по баням и за покупками.

Вышибала, сдерживая злобу, хмуро говорил:

— Скоро вот придут Акулина Великая да Фенька Казачка... Обождать придется. Тоже, чать, люди...

Денисенко продолжал ругаться, грозил и уже стал, было, звать пристава в другое заведение, но в это время в комнату вошел чахоточный Каридзе и, обращаясь к одному приставу, стал усиленно уговаривать его остаться, угодливо спрашивая, что еще «гости» прикажут подать на угощение. И «казенные гости» остались.

Потом пришли и девицы.

Акулина Великая, нежно называвшая себя Линой, необычайно высокого роста, с серым мужским лицом, фамильярно поздоровалась с обоими тяжелой, негнушейся рукой и тут же, стоя, налила себе стакан коньяку. Фенька Казачка вошла молча, не глядя на казенных гостей, но не протестовала, когда Денисенко подхватил ее за тонкую гибкую талию и усадил с собой на диван. Эта была полной противоположностью Акулины Великой. Тонкая, с нервно расширяющимися ноздрями и черными, с удлинненным разрезом, влажными глазами, она была бы красавицей, если бы не резкое, какое-то хищное выражение лица и явно нездоровая припухлость щек.

Отодвинувшись в угол дивана, Фенька презрительно-небрежно закинула на колени к Денисенко туго обтянутую чулком ногу и, думая совсем о другом, слегка хриловатым голосом попросила:

— Шурка, угости папироской!

Началась попойка вчетвером. И уже не чувствовалось гнета тревожной тишины, отодвинувшейся за припертые и плотно укрытые портьерами двери. Звенел презрительный смех Феньки и добродушно бубнил басовой хохот Акулины Великой. Пьяный разгул снова заполнил отдельный уголок притаившегося на захолустной улице веселого дома...

Уже близко было к полуночи. Сильно опьяневшая Фенька Казачка стала особенно резкой. Шабалин еще более размяк и слезливо мигал упорно смыкающимися глазами. И все чаще по сонному лицу его скользила та необычно-мягкая усмешка, которая делала его непохожим на «кремневого пристава».

Фенька, сидя верхом на мягком плюшевом стуле и опираясь подбородком о спинку, пристально смотрела влажно лучившимися глазами в грязно-серое, скуластое лицо Денисенко и тихонько что-то мурлыкала. Денисенко, совсем распоясавшийся, рассказывал какой-то грязный анекдот.

Неожиданно Фенька повысила голос и хриловато запела, в упор глядя на Денисенко и перебивая его:

Бумажное творенье
Чернильная душа!
В чернилах все именье
И денег ни гроша...

Денисенко замолчал, тупо уставился на Феньку и, по-пьяному качнувшись в ее сторону, наотмашь ударил ее по щеке. Казачка, как натя-

нутая струна, вытянулась, оттолкнув стул, и, слегка побледневшая, с хищным оскалом зубов, на секунду остановила на Денисенко колющий, злобно сверкнувший взгляд, медлительно повернулась на высоких каблучках и уже у двери, через плечо бросила:

— Вошка несчастная! Крючок!

Денисенко ответил плоским ругательством, но, взглянув на Шабалина, изумленно, как-то растерянно открыл глаза. У того дрожал подбородок и в глазах стояли слезы. Судорожно всхлипывая, он бормотал:

— Зачем ты... Александр! Что это такое, господи!.. Ведь это свинство!..

Кривя лицо в недоумевающей улыбке, Денисенко молчал, теряясь в догадках. А Шабалин, уже со смятым платком в руках, все надрывнее всхлипывал. И, озлобляясь, выдавливал тугие слова:

— Сам ты сволочь, грязь, а!.. У нее, может, на сердце кошки скребут, а ты...

Потом Шабалин упруго выпрямился в кресле, холодно сверкнул прищуренными, еще влажными от слез глазами и коротко, твердо сказал:

— Извинись! Непременно пойдешь извиниться! Сейчас же, слышишь, а то... — свистящим голосом добавил он.

Денисенко отвел глаза, случайно взглянул на висевшую напротив картину, и ему показалось, что грубо намалеванная голая женщина изумленно приоткрывает рот, пораженная необычайным случаем в интимной комнате веселого дома...

Оба молчали, и прижавшаяся тишина снова проникла в комнату, становясь все тревожнее, напряженнее...

*(Вероятно, весь цикл рассказов относится к 1919 году.
Печатается по автографу)*